



К. Рогнич

Агата

16+

К. Рогнич

Агата

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65777697

SelfPub; 2021

Аннотация

Тот, кто однажды оставил неизгладимый след в твоей памяти, однажды вновь вернётся, чтобы напомнить о себе. И о тебе. Прошлом тебе. Пусть даже сделает он это из гроба.

К. Рогнич

Агата

Если бы несколько лет назад, году эдак, скажем, в девяносто третьем или четвёртом, или чуть попозже, когда у меня уже начали виться волосы, а голос как будто слегка осип, если бы в это время кто-нибудь сказал мне, что однажды Агаты не станет – я бы ни за что не поверил. Я не стал бы даже плевать этому человеку в лицо, не рассмеялся бы над его глупостью и не послал бы его к чёртовой матери. Нет, я бы не стал делать ни одну из этих бессмысленных, но как-то въевшихся в моё читательское сознание вещей. Просто бы помолчал немного и пошёл своей дорогой. Тогда подобные слова и то, что скрывалось за ними, показались бы чем-то настолько фантастическим и нереальным, что и не подумали бы уложиться в моей голове, под копной грубеющих кудрей. Они не вызвали бы никакого отклика – только и всего.

Теперь я думаю, что во многом тот гипотетический я из прошлого был прав. Агаты и правда не могло не стать. Даже теперь, стоя над провалом её незакрытого гроба, глядя на неестественно гладкую бледную кожу со слишком чёткими кругами румян там, где им не было места, я всё ещё не верил. Безо всяких там усмешек или плевков в лица. Оставьте этот фарс героям книг и фильмов. Я просто не верил, только и

всего. Хоть и знал с поразительной точностью, что всё это – чистейшая правда.

У Агаты никогда не было иллюзий насчёт смерти. Как сейчас помню эту картину: мы – я, она и её младший братишка с непроницаемым именем (мы называли его просто «мелкий» или «эй ты») – сидим на подоконнике, ужасно пыльном и до того узком, что её колени, едва прикрытые оборкой ситцевого платья, выпирают над полом сантиметров на двадцать. Она всегда была долговязой. Все неустанно напоминали ей об этом, так часто, что постепенно слово приклеилось к ней, к её коленям, шее, рукам и икрам, приклеилось намертво и стало частью её самой. Оно пристало, как бумажка с надписью «пни меня», и другие дети только рады были исполнять призыв. Конечно, били Агату не только из-за этого. Но и из-за этого в том числе.

Так вот, сидели мы на этом подоконнике – трое детей, щедро поливаемых солнечными лучами, долговязые, несуразные, торчащие в разные стороны, с осипшими голосами и начавшими виться волосами. Из нас троих более или менее безгрешным оставался один только мелкий. Его проблемой было только неугасимое желание размазывать собственные слюни по радужной поверхности стекла. Но это было простительно. В отличие от наших грехов.

— Как думаешь, он в кого вырастет?

Вопрос застал меня врасплох. Я даже и не понял сперва, о чём это она. Да и задала его Агата в привычной своей мане-

ре: ни к кому особо не обращаясь, глядя в пустоту. Она низко склонила голову и сосредоточенно разглядывала синяк на локте.

— Это мелкий-то?

Она бросила на меня раздражённый взгляд.

— Ну а кто?

— Не знаю. – пожал плечами я. – Может, он вообще не вырастет. Или вырастет в себя. Или, скажем, ни в кого.

Солнце подогревало её обычно тёмные пряди, делая их золотисто-рыжими. Краем глаза я увидел, как эти оранжевые всполохи удовлетворённо закачались.

— Было бы здорово. Он слишком бестолковый, чтобы вырастать во что-то путное. Пусть уж лучше так и останется тем, что есть. Лучше, чем ничего.

Я посмотрел на мелкого. Он сидел на подоконнике полубоком, свешивая вниз одну из своих кривых ножек, обтянутых белой в цветочек тканью ползунков и мечтательно размазывал по стеклу сияющую вязкую жидкость. Толстые пальчики выводили круги и спирали. Солнце покрывало пушок на его голове мягкой радужной плёнкой. Конечно, Агата была права. Лучше ему вообще никогда не вырастать. Так я подумал тогда, но сказал, конечно, совсем другое. Это была моя вечная проблема. Я очень редко говорил то, что думал.

— Думаю, – протянул я, – он сможет. Из него получится что-то путное. Почему это он не сможет?

Её рука скользнула в мою сторону и легонько кольнула

самыми кончиками пальцев.

— Не придуривайся.

— Ладно.

Конечно, она понимала меня. Наверное, не было больше в мире человека, который понимал бы меня так же хорошо. Она знала, что я на самом деле не желаю с ней спорить, что делаю это машинально, сам не зная, зачем. Очень уж она была умной для своих четырнадцати лет.

Мы сидели молча. Тишину нарушало только тихое сопение Агаты и скрип младенческих пальцев по разводам стекла. Туда-сюда, туда-сюда. Я прикрыл глаза, и под веками всё окрасилось в малиновый цвет. Мне очень нравилось, когда такое происходило, потому что можно было вообразить, что ты шлёпнулся в бассейн, полный джема. Причём джема покупного, искусственно-сладкого, наполненного миллионом подушек и совершенно не содержащее и кусочка малины. Я любил такое до безумия и всегда с наслаждением царапал ложкой стенки сияющих банок. К сожалению, возможность такая предоставлялась мне в лучшем случае пару раз в год. И сейчас, пока солнце грело мне веки, я воображал вкус этого джемового бассейна со всем блаженством, на какое только было способно моё неокрепшее воображение.

— Ты чего это? – голос Агаты, пробивавшийся сквозь толщу джема, звучал удивлённо и немного гулко.

— А что? – лениво буркнул я, наверняка выпуская изо рта сонм джемовых пузырьков.

— Сидишь и улыбаешься, как дурак.

— Неправда.

— Правда. Я же тебя со стороны вижу. А ты сейчас не видишь даже меня.

Конечно же, она была права, подумал я, но вслух больше ничего не сказал. Зато Агата заговорила. У неё это было в порядке вещей: сперва молчит часами, слова не вытянешь, а потом в какой-то момент открывает рот и начинает слегка скрипуче (её голос тоже неуловимо меняться) что-то рассказывать и говорит так долго и много, что у слушателей языки начинают болеть. А может, это только мой язык болел, как знать. Я ведь был её единственным слушателем.

— Знаешь, было бы хорошо, если бы он умер прямо сейчас. И если бы все мы умирали примерно в его возрасте. – вот что она говорила. – Знаешь, в мире есть мушки, которые живут всего один день. Вот бы и нам так, а? Я им, если честно, ужасно завидую.

Конечно, я знал этих мушек. Над ними вечно проводили исследования ДНК, потому что у них было всего восемь хромосом, а ещё они могли опьянеть. Всё это я прочитал в «Большой энциклопедии для самых маленьких», когда уже давно перестал быть самым маленьким. Мы с Агатой вместе стащили её с огромного шкафа госпожи Лилу. Она была настолько пыльной, что непонятно было, где начинается слой пыли и заканчивается обложка, и ужасно тяжёлой. Агата то-

гда упала со стула и распорола себе колено углом «Энциклопедии». Я приоткрыл глаз, чтобы удостовериться, что из-под оборки платья всё ещё белеет шрам. Он там, конечно был. Он там был и сейчас, когда она лежала в гробу, вся такая недовольная и в сетчатых колготках. Только видно его не было. Но я твёрдо знал, что он был на месте, и это знание успокаивало.

— Представь, жить всего день, а потом – просто уйти. Это же всё так упрощает, и не нужно бояться, что ты ничего не добьёшься, или что из твоих детей не вырастет ничего путного. Ты же просто будешь знать, что никогда и никто ничего не добьётся, и не вырастет, и все эти другие люди, то есть, конечно, мошки, ты знаешь, что уже завтра утром их не будет ни одной. Они, наверное, никогда не злятся друг на друга, не завидуют, ничего такого.

Агата замолчала и я понял, что она ждёт моей реакции. Она была не из тех, кто говорит просто так, в пустоту. Ей всегда было важно знать, что я слушаю. Поэтому я сказал:

— Но они ведь и не счастливы тоже, наверное.

Край моего глаза зацепил огненное движение – она повернула ко мне лицо.

— Так ведь я о том и говорю. Мы ведь тоже вечно несчастливы. А у нас на это долгие-долгие годы. Счастливых людей и зверей попросту не существует, это невозможно. И кому больше повезло: тем, кто несчастен день или тем, кто – всю жизнь?

У меня тогда уже начинало саднить язык, поэтому я промолчал. Я подумал, что иногда я бываю счастлив. И мама тоже, наверное. Пару раз мне казалось. Что даже госпожа Лилу была по крайней мере довольна, но уверен я не был. Агата нервно качнулась из стороны в сторону, совсем как королевская кобра в тот момент, когда сидящий перед ней бедуйн трясёт плетёной крышкой корзины, откуда только что вытащил змею. Конечно, он ещё для виду дул в свою мерзкую дудку, вот только это было просто трюком. Это я тоже почерпнул из недр «Большой энциклопедии для самых маленьких». Эта гигантская книга твёрдо решила не позволять малышам даже пару лет пожить в мире обманов и иллюзий. Она хотела, чтобы они с детства знали обо всех обманах и иллюзиях, а потом выросли в отвратительных зануд. Именно так со мной и случилось. С Агатой, конечно же, нет.

— Почему бы тогда сразу не делать аборт? – спросил я из своего бассейна полного искусственной малины. – Проще и быстрее.

Она замотала головой, рассыпая по плечам снопы золотисто-рыжих искр.

— Нет, тогда весь смысл потеряется. Я бы хотела увидеть мир. И чтобы каждый его увидел. Мир же ужасно интересный.

Вот так она сказала. И, конечно, была тысячу раз права. Но я, конечно же, в очередной раз решил возразить.

— А что если кому-то мир так понравится, что одного дня

никак не хватит? Он ведь будет знать, что у него один день, да? И будет мучаться, целый день будет страдать, потому что не захочет умереть.

Она передёрнула плечами – на этот раз с таким раздражением, будто готова была избить меня – и выпрямилась.

— Если он такой идиот, что будет эти двадцать четыре часа растрчивать на страх смерти, а не на радости жизни, значит, и правильно, что умрёт. Людям и девяноста лет не хватает. Все умирать боятся. Кто-то может жить сотни лет, но под конец вспомнит, что ему нужно пожить ещё чуть-чуть, потому что он что-то не успел. А кто-то уже на первом часу выдыхается. Поэтому-то это и хорошая идея: у всех одинаково мало времени, понимаешь?

— Но разве тогда ты не сделаешь несчастными тех, кому мало...

— Ой, замолчи ты! Прекрасно ведь знаешь, о чём я. – она как-то кособоко, устало привалилась к стеклу. – Просто нарочно споришь. Или по привычке, не знаю. Но ты же в курсе, что я права.

Вот так она сказала. И это тоже было правдой. Я всегда знал это, на самом-то деле. То, что Агата никогда не говорила ерунды казалось прописной истиной, причём казалось ею с такой очевидностью, что я то и дело пытался спорить. Всё моё неуёмное бунтующее естество, только начинающее меняться и играть во взрослого стремилось тогда оспаривать любые очевидности. Я спорил со всем, что не вызывало во-

просов у нормальных людей, но принимал как должное все те загадочные и сомнительные явления, на которые принято было смотреть с недоверием. Принято? Ха! Как и любой подросток, я отказывался что-либо *принимать*. Если бы у меня было самую капельку меньше мозгов и больше терпения – клянусь, я бы попытался доказать всем вокруг, что небо на самом не голубое, а стекло не звенит при ударе о землю.

К счастью, всё, на что меня хватало – это изредка возражать. И возражал я, конечно, только тем, в чьей правоте не могло быть сомнений. Тем же, кто плёл несусветную чушь, я только согласно кивал в ответ. Это отнюдь не значило, что я не понимаю, каким дураком выгляжу и как сильно не прав.

Если подумать, разница между мной тогдашним и той взрослой, уже окончательно закурчавленной и сломанной версией, что стояла теперь перед гробом, была именно в том, что в какой-то момент я прекратил воспринимать истину в штыки. Когда мы с Агатой созванивались прошлой осенью – как позже выяснилось, то был последний наш разговор, она сказала, что ей даже не хватает иногда кого-то, кто вечно бы пытался ей возразить.

— Ты знаешь, все так просто со мной соглашаются. – фыркнула она. – Мне даже усилий прилагать не нужно, чтобы доказать мою правоту. Забавно, знаешь, я из-за этого иногда сама в себе начинаю сомневаться. Раньше такого не было.

— Ну уж извини.

— Не могу я тебя за это извинять. Если бы я прощала всех

за то, что они выросли и поумнели, я бы, наверное, давно сошла бы с ума.

Кажется, я ей тогда ничего не ответил. Кажется, мы просто по старой привычке ещё с полчаса помолчали, каждый в своей комнате и в свою трубку. Кажется, я плакал, но не понимал этого. Потом мы – как всегда одновременно – щёлкнули рычагами телефонов. Я ещё долго сидел в медовом полумраке гостиной и думал о том, как глупо, что я всё ещё представляю её юной, с копной тонких янтарных локонов. Она ведь теперь, наверное, окончательно облысела.

Мы часто так проводили время: просто молчали. Агата вообще обожала молчать – это давало ей массу времени на то, чтобы думать. Думать она любила больше всего на свете.

Иногда мы сидели вот так долгие часы. Бок о бок, погружённые в свои мысли. Она обычно свешивала одну ногу вниз и принималась легонько ею покачивать. Вторую она обхватывала руками и, прижавшись губами к согнутому колену, глядела в пустоту. Мне нравилось наблюдать за ней в эти минуты – за тем, как мелко трепещут бледные ресницы, как она едва заметно наклоняется туда-сюда, как солнечные лучи окрашивают её тонкие пергаментные уши в розовый цвет и по контуру очерчивают лицо и шею сияющим пушком.

— Ты всегда знаешь, когда я на тебя глазаю? Ну, чувствуешь кожей или что-то в этом роде?

Она удивлённо посмотрела на меня – даже глаза округли-

ла. Нам было около пятнадцати, и наши разговоры становились всё отрывочнее и страннее, хотя и не утратили прежней интимности.

— Ничего я не знаю. А ты *глазеешь*?

— Да.

— На меня? Зачем вообще ты об этом говоришь?

— Я думал, ты итак знаешь.

— Я никогда не понимала этого клише про чувствование коже. Когда человек якобы знает, что за ним из толпы следят. Такое только в книжках бывает. А знает потому что главный герой. В жизни у тебя нет помощи пишущего. Вот ты и не можешь осязать взгляды и прочую чушь творить.

Как ни странно, я тогда даже немного разочаровался в ней. Я-то был уверен, на все сто процентов уверен в её всемогуществе. Как может наша Агата, наша умная, могущая всё объяснить Агата не знать чего-то настолько простого и очевидного? В ту секунду я почувствовал себя мерзко – как если бы был подглядывающим за ней шпионом.

— Извини меня.

— Ты это чего?

Мы стояли рядом, животами прислоняясь к забору и делали вид, что изучаем улицу. Поросшая жухлой травой, она путалась в хмурой серости дня. Вокруг не было ни души, только ветер гнал вдоль камней оград сухие ветки. Волосы Агаты развевались.

— Ты чего? – спросила она тоном, требующим много-

чия после знака вопроса – самого пошлого знака препинания из существующих.

— Прости.

— Не прощу, пока не скажешь, в чём дело.

— Я думал, ты замечаешь. Мы с тобой как будто были заодно, понимаешь? Я думал, что у нас что-то вроде уговора, но без слов. Ты согласна, что я на тебя долго смотрю, и ничего в этом такого нет.

— А теперь?

Я стиснул одну из шершавых перекладин. Мелкие щепки впились в кожу.

— Теперь выходит, что я как сраный извращенец. – она промолчала. – или шпион.

— Да нет же.

— Да.

— Думай как хочешь, но ничего такого в том, что ты на меня смотришь, нет. Но я поняла, о чём ты. Не волнуйся. Никакой ты не шпион.

Она не сказала ничего про извращенца. И мне стало ещё хуже, потому что такие, как Агата о словах не забывают. Такие, как она знают цену каждой букве. Они никогда не говорят что-то без необходимости и никогда не позволяют себе выпускать из речи действительно важное.

Сейчас, стоя в душевной зале прощания и отчаянно стараясь не замечать, как ручейки пота прокладывают, я всё ещё чувствовал то же самое. Понятно почему – теперь я пялил-

ся на её лицо неприлично долго, а у неё даже возможности не было об этом узнать. И все они: все эти бог весть откуда явившиеся тётушки, дедушки и племянницы (где только была эта многочисленная родня, пока её мать пыталась как могла задобрить госпожу Лилу и сохранить за собой хоть одну комнату под крышей?), и неправильно вытянувшийся Мелкий, которого, как оказалось, зовут совершенно по-дурацки, и трясущийся от невыносимой духоты владелец похоронного бюро... Да, все они, все и каждый глазели на Агату совершенно нагло и бесстыдно. Как будто у них с ней был уговор.

Я отвёл взгляд в сторону. Это уже становилось решительно неприличным. Кто-то сзади сухо кашлянул, причём тут же подкрепил эффект вторым покашливанием. Пора было уходить. Но я не мог. Нет-нет, совсем будет плохо, если я сейчас оставлю её вот так: под прицелом новых взглядов, даже не знающих, что хорошо было бы спросить разрешения, что, не озаботившись этим, они становятся взглядами извращенцев. Нет уж, торопить они меня не имеют права. И я снова заглянул в гроб.

Волосы! Извините меня за это внезапное восклицание, но я и правда едва удержался от того, чтобы высказать вслух свою радость. Я, наконец, нашёл, куда мне смотреть, чтобы выдержать достаточно долго, а значит, достаточно долго её защищать. Мне нужно было глядеть на что-то в ней, что делало бы мой взгляд осмысленным. Что заставляло бы думать. И волосы – о, они идеально для этого подходили!

Она была в парике, определённо. Не могла её шевелюра сохранить такую длину и пышность, такой здоровый блеск после стольких месяцев облучения всякой дрянью. Конечно, парик, безусловно, это уже давно не те тонкие, лоснящиеся нити, что сияли на ветру и рассыпались по дешёвому платью. Я и не ожидал увидеть ничего другого.

Но вот что поразило меня: волосы были седыми. Даже не белыми или блондинистыми, какими они бывают у старух, пытающихся замаскировать любые признаки увядания, нет, серыми, с выцветшими изгибами прядей, неприкрыто кричащими о старости. Как странно смотрелись они на её ещё не таком пожилом лице – конечно, болезнь взяла своё, но Агате с трудом можно было дать хотя бы сорок.

Когда мы были моложе, она терпеть не могла свои волосы. Точнее не так – волосы-то она любила, да ещё как. Её вообще устраивала каждая частичка собственного тела. Но Агата на дух не переносила, манеру некоторых людей делать бессмысленные комплименты её густой, рассыпающейся медью шевелюре. Каждый раз, когда моя тётя, или мама, или, тем более, госпожа Лилу, с восхищением проводили рукой по прядям и шептали: «Ну сокровище, ну настоящее богатство!», я видел, как морщилось её лицо.

— Как будто сказать больше нечего, честное слово! А если я эти волосы отрежу? Или сожгу в перекиси водорода? Они объявят всенародный траур или просто перестанут каждый раз пороть чушь?

И я знал, что ничего ей не стоит хоть сбрить всю копну напрочь, вот только она не станет этого делать. Это ведь было бы совершенно глупо и даже немножко по-детски, а ни того, ни другого Агата терпеть не могла.

Мы с ней стояли тогда в парке. Просто стояли посреди уже посеревшей в весенних сумерках тропинки, я – прислонившись к выпирающей ветви ясеня, она – гордо и совершенно прямо. Даже с ноги на ногу не переступала.

— Ненавижу. – её бледные пальцы резко дёрнули случайную прядку вниз. Локон подпрыгнул кривой спиралью и распушился в наступившей тишине. Агата раздражённо убрала его за ухо. – А ты чего молчишь?

— Я?

— А кто?

— Да кто угодно.

Она нахмурилась. Было видно, что ещё секунда – и она задаст вопрос, что-то вроде «В каком смысле?», на что я бы ответил ей невероятно остроумно: «В том, что все и всё здесь молчит, кроме тебя». Я знал, что переспрашивать она не станет. Она была не из тех, кто вот так запросто позволял простакам вроде меня втягивать их в свои дурацкие, заранее изобретённые спектакли. Печально, конечно, но с другой стороны – я хотя бы не выглядел таким уж жалким.

Агата снова пригладила волосы рукой и бросила на меня кривой взгляд. Её губы сломались в улыбке и она высунула самый кончик языка – буквально на секунду, острый и бле-

стящий.

— Домой пора, дуралей. Госпожа Лилу сказала, что закрывает двери ровно в девять часов.

Госпожа Лилу! Я оторвал взгляд от мелких рыжеватых волн на голове покойницы и оглядел зал. Сзади уже нарастала волна нетерпеливых покашливаний, но я решил, что имею право постоять тут ещё пару минут. По какой-то причине во мне росла уверенность, что вообще-то я – единственный, кто здесь имеет право стоять рядом с гробом. Стоять в этой комнате. Да и вообще быть на этих дурацких похоронах.

Мне хватило нескольких мгновений, чтобы отыскать её. Это сгорбленное, совершенно бесцветное и ещё сильнее чем обычно надушенное существо маячило где-то в углу, между чёрных платьев, выглаженных галстуков и бокалов с шампанским. Казалось, за все эти годы она ничуть не изменилась, напротив, ещё больше стала походить на саму себя. Её извечный пучок на голове был скреплён извечной заколкой – искусственное золото и почти полностью потемневшие стекляшки-изумруды. Сколько я себя помнил, она всегда заплетала волосы только так. Агата как-то сказала, что это оттого, что волос у неё больше нет, она просто лепит на голову кучу пакли и скрепляет этой «убогой прищепкой».

Да, ничего не поменялось в облике госпожи Лилу – тот же пропахший подгорелой кашей свитерок мелкой вязки, те же длиннющие мочки ушей, в которых постоянно болтались

странного вида серьги, те же собравшиеся складками у щиколоток чулки. Но меньше всего изменился взгляд. Её цепкие, полные злобы глаза так и рыскали из угла в угол, ища, на кого бы эту скопившуюся за долгие годы злобу выплеснуть. Теперь они тонули в морщинах и старческих пятнах, а безволосые брови нависали на них сверху, грозя превратиться в щели. Но этого было недостаточно. Я ощущал уколы ненависти даже здесь.

Будучи детьми, мы постоянно становились жертвами её нападков. Она то и дело пыталась захлестнуть нас своей злостью, утопить в ней, вот только делать этого не умела.

— Она не злодейка. — Сказала мне однажды Агата, когда бы вместе пытались успокоить перепуганного после столкновения со старухой Мелкого. — Для злодейки она слишком мелочная.

И это было правдой. Нас только слегка обрызгивало, ошпаривало, но не более того. Возразить мы ничего не могли — если мои родители ещё были способны оплачивать аренду квартиры в срок, то вот мать Агаты, обедневшая под конец жизни аристократка, частенько оставалась должной за два, а то и три месяца.

Эта больная, чахлая женщина с тонким лицом и безжизненно-тёплым взглядом почему-то сразу попала в немилость хозяйки дома, в результате чего, сама того не ведая, была вынуждена платить за свою комнатку под крышей втрое больше, чем та стоила. В тайне от неё Агата то и дело иска-

ла способы заработать хоть пару сотен, хваталась за любые предложения и то и дело поносила госпожу Лилу на чём свет стоит.

А та, между тем, творила странные и совершенно дикие вещи. То и дело больно дёргала нас за носы и волосы, бранила самыми грязными и мерзкими словами наши семьи, включала музыку посреди ночи, расплёскивала на пол вёдра воды с щёлочью и вереща, что всего лишь «желает вымыть эту конуру», но в итоге оставляя всё мокрым и намыленным. Тогда нам приходилось убирать этот бардак самим, а так как дело было зимой, мы, конечно, или простывали, или не успевали убрать всю воду; она застаивалась в потаённых уголках дома, плодя плесень и полчища мокриц. Да уж, госпожа Лилу внушала нам ужас и ненависть.

Забавно, что она вот так запросто пережила почти всё семейство Агаты. Забавно, что она была здесь и сейчас, именно она из всех, кто имел счастье стать частью долгой и запутанной Агатиной жизни. Именно она изгибалась в знак вопроса в дальнем углу этой мрачной гостиной, отпускала скрипучие замечания и сухо покашливала, прихлёбывая тёплое шампанское.

Я огляделся. Позади меня нарастал вежливо-недовольный гомон, а вереница усов и ожерелий всё возрастала, всё отчаянней толклась и копошилась.

— Удачи там. – шепнул я, быстро коснувшись кончиками пальцев мёртвого лба. Он был до отвратительного холодный

и шершавый. Стараясь больше ни секунды не смотреть на лежащую в гробу, я поспешил уйти, смазанно извиняясь кивками головы и движениями губ. Старуха колола меня взглядами из своего угла, когда я шагал к двери, к солнцу, к воздуху, прочь от воспоминаний и кислого запаха пота.

Стоило мне только переступить порог и услышать за спиной щелчок захлопнувшейся двери, и весь мир будто расширился. Я снова ощутил возможность дышать полной грудью. Напомаженное, неестественно-идеальное лицо Агаты всё ещё плавало где-то перед моим внутренним взором, да я, если честно, и не пытался от него избавиться. Это, как и любые мои попытки сделать что-то Агате наперекор, в любом случае было бессмысленно. Пожалуй, если я в своей жизни что и понял, так именно это.

Стараясь прекратить бесконечный поток мыслей, я сошёл с крыльца и повернулся к дороге. Пожухлые рыжие листья рвали с веток и неслись прочь, царапали асфальт и без усталости шептались с порывами ветра. Шу-шу-шу. Они то и дело прыгали в освещённые вечерним солнцем канавки и расплывались там каштановым золотом.

— Прямо как её волосы в молодости.

Я вздрогнул. Этот голос раздался за моей спиной так точно, так вовремя, что я подумал было, что мои мысли теперь озвучиваются – прямо как в этих глупых фильмах. Однако обернувшись я обнаружил перед собой низкого, как будто

обрезанного со всех сторон мужчину. На вид ему было около тридцати, но сам он, вероятно, позабыл об этом: от мятого пиджака несло стариком, а на голове виднелась огромная проплешина, кое-как прикрытая паутиной седых волосков. Но больше всего поражали его глаза.

— Извините? – я поймал себя на том, что стараюсь разорвать наш зрительный контакт, то и дело смотря куда-то в сторону: то на слишком мясистые мочки ушей, то на пропитанные жиром складки на шее.

— Я говорю, листья. Они прямо как Агадины волосы. Их цвет, я хочу сказать.

Он улыбнулся очень вялой, даже болезненной улыбкой, при этом всё его лицо будто разъехалось по швам, а глаза сделались ещё более пугающими.

— Простите, ради Бога, я...

— О, ничего страшного! Вы, видимо, меня не узнаете. Не удивительно, столько лет прошло, да и я, знаете, совсем не в той форме, что раньше. – если бы в реальной жизни существовали знаки препинания, он был бы окружён многоточиями – так упорно проглатывал он окончания своих реплик.

— Видимо, и правда не признал. – пробормотал я.

Мужчина протянул узкую ладонь с плотно сомкнутыми пальцами:

— Сигизмунд.

— Сигизмунд?!

— Или, если угодно...

— Мелкий!

Мы произнесли это слово в унисон. Я – задохнувшимся криком, восторженным и так и не подавленным до конца правилами приличия, он – скомканно, почти что шёпотом, и при этом даже несколько лукаво. Одно слово, одно-единственное, такое родное, и вместе с тем такое интимное, не принадлежащее никому, кроме меня, как будто связало нас. Я почувствовал невероятное облегчение. Этот странный, самым ужасающим образом изменившийся мальчишка как будто был подтверждением реальности моих воспоминаний.

— Прости, прости меня, Адам! – воскликнул я, неловко приобнимая его за плечи. – Как же это я сразу не понял, честное слово! Сколько мы не виделись, лет двадцать?

— Думаю, больше. Когда я вернулся из гимназии, вы уже уехали из города, так что...

— И то правда. Чёрт возьми, как много времени... И ты всё ещё помнишь эту дурацкую кличку, которую мы с Агатой тебе дали?

Он рассмеялся – всё ещё ужасно печально, царапающим, стеклянным смехом.

— Да вы ведь только так меня и звали.

— Прости нас.

— Да я ведь понимаю, имечко мне мама дала, что надо...

Мы замолчали. Я никак не мог осознать, что это и есть тот самый мальчишка с глупым взглядом и светлым лицом, тот

самый тонкорукий паренёк, которого Агала то и дело хватала под локоть во время наших прогулок и отсылала куда подальше со словами «Найди себе дело и предайся ему. Нечего тут подслушивать». Тот, которого госпожа Лилу пичкала мерзкими конфетками, оказавшимися слабительным. Тот, кто ревел как резанный и смеялся как потерпевший, когда мы устраивали ему театрализованные постановки его любимых сказок.

Теперь я приходил в ужас от его вида. Особенно от глаз. Такие же синие, такие же глуповатые, как в детстве. Но при этом совершенно, кардинально другие. Они подёрнулись никогда не сходящей плёнкой слёз, они пожелтели и провалились куда-то вглубь набухших век, затерялись в мешках, синяках и морщинах. Они наполнились чем-то, что я с трудом мог бы описать, какой-то странной смесью боли и ужасной, всепоглощающей тоски.

— Как вы вообще-то? – спросил я, переходя обратно на «вы» и намеренно избегая обращения по имени.

— Как она и говорила.

— Что? – в первые секунды я даже не понял, о ком это он.

— Агата. Я – так, как говорила Агата. Как она просила.

Я взглянул на него недоверчиво и с сожалением. Опять Агата.

— Боюсь, я не совсем понимаю.

— Она меня всегда просила: «Мелкий, вырасти в себя. Будь тем, что есть». Думаю... – воздух вокруг него напол-

нялся многоточиями. – Вы... Наверное, тоже слышали это?

...

— Ах, да...

Мы оба как будто превратились в одно сплошное многоточие. Оно путалось в нитях растянувшейся меж нами тишины, плодилось и множилось. Точек становилось всё больше, и каждая из них добавляла хаоса, и молчания, и бессмысленности. Я вдруг остро ощутил бессмысленность – причём нашу с ним общую. Презрение сменилось пониманием.

Я нервно махнул рукой, отгоняя назойливую мошку. И только сделав это, поймал пристальный взгляд голубых, ужасных глаз. Я уже знал, о чём он думает и что собирается сказать.

— Мошки, а? – произнёс он, именно так, как я и думал.

— Да...

— А ведь ей всего день жить... Уж оставьте, не трогайте...

— Повезло им, – заметил я. – Не правда ли?

Мужчина кивнул.

— Ещё бы. Хотелось бы так же, знаете ли...

Мы вновь замолчали, глядя куда-то вдаль. Улица уже почти отпустила закатные лучи из своих цепких объятий и рыжие листья потускнели, покрылись коричневыми кудрями теней. Если бы я не знал Агату так хорошо, то непременно ляпнул бы здесь нечто вроде «она словно прощалась снами сквозь эту листву». Но, конечно же, ничего подобного я даже подумать не посмел. Не было никаким агатиным прощанием

и быть не могло. Слишком пошло для неё, слишком неостроумно. Однако это точно было напоминанием нам обоим. Или может быть даже намёком. Кажется, у нас не вышло не только стать кем-то путным. Мы даже собой остаться не смогли. Растворились в ней. Она пропитала собой наи жизни до основания, заставила нас думать так, как мы думали и говорить то, что мы говорили.

Я с ненавистью взглянул на этот бурый поток шорохов и, не говоря ни слова, пошёл прочь. С каждым шагом гроб становился всё дальше, а вместе с ним и этот странный, неправильно выросший мальчик, и стекло, и мошки, и волосы, и паклю. Я отрывал их по одному и отшвыривал прочь. Потому что только так можно было снова начать жить по-старому – так, как я делал это до всех этих погружений в прошлое. Так, как я жил во времена, когда Агата стала лишь ярким пятном на задворках памяти, важным, тёплым, но ничего не решающим.